

ФЕДОР ИВАНОВИЧ КУЛЕШОВ**(1913–1993)**

Профессор Федор Иванович Кулешов с 1961 г. работал на кафедре русской классической литературы и возглавлял ее с 1966 по 1969 г. Как ученый был широко известен в научных кругах Беларуси и России. Ф.И. Кулешов – член Союза писателей СССР, литературный критик, талантливый педагог, подготовивший десятки кандидатов и докторов наук. Им опубликовано более 300 работ, в том числе 20 книг.

Область научных исследований Ф.И. Кулешова широка и многогранна. Его перу принадлежат работы о творчестве как русских (Г. Державин, Н. Некрасов, В. Короленко, Л. Толстой, Л. Андреев, В. Вересаев, М. Горький), так и белорусских писателей (Ф. Пестрак, И. Науменко, И. Гурский, М. Лыньков, А. Кулешов, И. Чигринов, Б. Саченко, И. Мележ и др.).

Особый вклад в литературоведение Беларуси внесла его монография «Творческий путь А.И. Куприна» (1963, 1980), получившая высокую оценку критики и научной общественности (Г.А. Бялый, М.Н. Пархоменко, О.Н. Михайлов, С.А. Рейсер и др.). К.И. Чуковский по этому поводу писал: «Книга Ваша умная, богатая, избилующая свежими материалами, привела меня в восхищение. Это лучшая книга о Куприне и образец литературоведческой работы». Фактически первым учебником по русской литературе в Беларуси был его «Курс лекций по истории русской литературы конца XIX – начала XX века» (в 2 ч., 1980), по которому учится не одно поколение студентов-филологов. Исследования Ф.И. Кулешова не утратили научной новизны и актуальности, их отличает оригинальная трактовка проблемы и высокий профессионализм.

*С.Я. Гончарова-Грабовская**Ф.И. КУЛЕШОВ***Л.Н. АНДРЕЕВ – РЕАЛИСТ***

Мысль Андреева упорно и подолгу задерживалась на тех сложных, трудно разрешимых вопросах, которые Достоевский называл вековыми. Это – общеполитические вопросы человеческого бытия, жизни и смерти. Не приходится говорить о наличии у Андреева строго определенной и четкой системы философских взглядов. В общих чертах его философия была идеалистической, на ней заметны, в

* Впервые опубликована в книге: Статьи о литературе // Учен. зап. Южносахалинск, 1959. Т. 2. С. 179–187.

частности, следы воздействия субъективно-идеалистических теорий Гартмана, Ницше, Шопенгауэра. В духе идеализма понимался им основной вопрос философии – об отношении мышления к бытию, о первичности материи или духа: начало всему – дух, абсолют, бог. Жизнь людей и природы изначально управляет неразгаданная сила, находящаяся где-то вне пределов земного бытия, за гранью умопостигаемого мира: там определяется основа судьбы человеческой.

Нельзя сказать, что Андреев был религиозен, верил в бога. В попытке проникнуть в тайны мироустройства Андреев мучительно искал бога – и дерзко его отрицал. Жажда бога сменялась безверием. Его мирозерцание не было ни религиозным, ни атеистическим, в нем соединялись несоединимые начала. Андреев постоянно находился в противоречии с самим собою. Ему была чужда религиозная мистика декадентов, но в своих представлениях о человеческой жизни он отводил немаловажную роль фатуму, року, судьбе и случаю; эти силы были синонимом хаоса и бессмыслицы бытия, воплощением слепой жестокости и враждебности к человеку, которого они цепко держат в своем плену. Человек сравнительно мал, нередко ничтожен, а враждебные ему силы безмерно велики. Что он в состоянии им противопоставить? В лучшем случае взбунтоваться, восстать без уверенности в победу, ожесточенно проклинать жизнь, негодовать на небо и бога, либо в страданиях и страхе ожидать неизбежной смерти, или же самому ускорить ее приход.

Этим заняты многие герои Андреева. Над этим он сам постоянно размышлял, об этом охотно писал. Его занимали загадки бытия, вопрос о месте человека в круговороте жизни, тревожили тайны исчезновения человека, его смерти и бессмертия. «Я много думаю о жизни и о смерти и чувствую в них глубокую тайну», – писал Андреев осенью 1903 г. и, поясняя мысль, добавлял, что его отношение к этой тайне – «как к опущенной занавеси: хочется приподнять ее, а никак не залезать по ту сторону, в темноту, и там чревоуещательствовать» (Литературное наследство 1965^{*}, 179). В Андрееве совмещались интерес к смерти и страх перед нею, и отвращение к ней, и понимание ее неотвратимости. В одном из его писем (август, 1902) читаем: «...я очень боюсь смерти, никак не могу примириться с фактом ее существования» (ЛН, 155). Андреев не славословил смерть, как это делал, например, Федор Сологуб, не воспевал ее как радостную избавительницу от земных тягот и страданий. И в то же время он считал, что литература должна говорить о смерти, показывать то, как человек умирает, изображать смерть – ужасную, отвратительную и таинственную, но неотвратимую и необходимо венчающую собою земные дела и помыслы человека, судьбу всего живого под солнцем.

Андреев не был свободен от пессимистических взглядов на жизнь и человека, что в какой-то мере роднило его с декадентами, но его мировоззрение никак несводимо к пессимизму, или, лучше сказать, пессимистические настроения не составляли сути его «философии жизни». Писатель постоянно носил в себе трагедию раздвоения чувств и мыслей, до болезненности остро испытывая то душевное состояние, которое Блок афористически определил как «и отвращение от жизни, и к ней безумная любовь». Два этих начала, разительно контрастные, уживались и одновременно боролись в душе Андреева – человека и художника, выступали в их слитности, неразделенности и одновременности, составляя органическое свойство его психики, черту его характера, особенность его индивидуальности. Но противоречивость его мирозерцания и, значит, творчества есть следствие не только трагической раздвоенности его личности, его субъективной мысли, оно является отражением противоречий самой жизни, сложностей русской объективной исторической действительности, неизбежно воздействовавшей на психологию и взгляды людей различных сословий и прежде всего на интеллигенцию как наиболее чуткую часть общества.

Высших вопросов бытия Андреев как писатель касался в большинстве своих рассказов рубежа 1890–1900-х гг., социально-бытовых по своей жанровой природе и реалистических по стилю и методу, каковы, скажем, «Ангелочек», «Большой шлем», «Город», «У окна», «Молчание», «Жили-были».

Наряду с рассказами социально-бытового жанра Андреев одновременно занимался философской прозой. Подобное жанровое разграничение, конечно, весьма условно, относительно, однако оно все-таки правомерно. Речь идет о рассказах и повестях, в которых, говоря словами Горького, Андреев обратился «к замысловатым изображениям мятежей внутри человека» (ЛН, 403) и где художественная мысль писателя сосредоточена – если не всецело, то преимущественно – на «проклятых вопросах» мироздания, бытия, деятельности человеческого духа. В одном случае Андреев выдвигал на первый план моральные проблемы философии, которым он всегда придавал большое значение в жизни человека и современного общества. На этическом конфликте, чрезвычайно остром, драматически напряженном и вовсе не будничном, основаны сюжеты лирико-философских новелл «Ложь» и «Смех» (обе написаны в начале 1901 г.) и рассказов «Бездна» и «В тумане» (1902). Каждое из этих произведений при своем появлении вызывало оживленные споры в печати. Особенно резкой была полемика вокруг «Бездны» и рассказа «В тумане». Андреева обвиняли в аморализме, смаковании натуралистических подробностей или безоговорочно зачисляли в разряд современных декадентов с их пропо-

^{*} Далее – ЛН.

ведьму неверия в человека, хотя названные произведения не давали серьезных оснований для подобных обвинений.

Другую группу составляют рассказы и повести, основным содержанием которых является не столько сфера морали, область инстинктов, философия чувств, сколько интеллектуальная сторона человеческого бытия, работа теоретической мысли, жизнь «чистого разума». Сюда относятся «Рассказ о Сергее Петровиче» и повесть «Мысль». Их автор, занятый исследованием диалектики мысли своего современника, стремился проникнуть в глубь его сознания, трагически раздвоенного, индивидуалистического, опасно зараженного «модными» философскими идеями, в частности ницшеанством.

«Рассказ о Сергее Петровиче» – антиницшеанское по своему пафосу произведение Андреева. Писатель развенчивал философию Ницше, вскрывая ее антигуманистическую сущность и осуждая интеллигентский индивидуализм в его крайней форме. Рассказ одновременно был и осуждением декадентства как пессимистического мироощущения. «Плохи дела жизни, когда приходится хвалить смерть», – писал Андреев в 1901 г. в одной из своих статей. Его философский рассказ в конечном счете был направлен против всего строя той жизни, в которой задыхающийся человек находит иллюзию своего спасения в акте самоуничтожения. «Хорошая, умная и тонкая вещь» – такими эпитетами Горький охарактеризовал в сентябре 1901 г. «Рассказ о Сергее Петровиче» (ЛН, 93).

Это произведение в значительной мере предвосхищало проблематику последующего творчества Андреева. В непосредственной близости к рассказу стоит, в частности, философская повесть «Мысль», написанная весной 1902 г.

Андреев варьирует здесь идеи и пафос предыдущего произведения, создает новую разновидность «несостоявшегося» сверхчеловека и говорит о неизбежности крушения индивидуалистического сознания, «окалеченного» ницшеанской философией. Между героями обоих произведений нет принципиального различия: Сергей Петрович в поисках индивидуалистического самоутверждения прибег к самоубийству, герой же «Мысли» пытается осуществить ту же цель посредством убийства другого человека.

Именно кровавый акт убийства является тем главным стержнем, вокруг которого вращается сюжет повести «Мысль». Сюжетная канва четко намечена в первой же фразе – от автора. С самого начала повествования читателю известна суть трагического происшествия: доктор Керженцев убил своего друга Савелова, был арестован и положен в психиатрическую больницу. Убийство совершено среди бела дня, в присутствии жены убитого. Возникло подозрение в ненормальности умственных способностей Керженцева. Врачам-психиатрам предстоит сделать медицинское заключение: убил ли Керженцев в состоянии умопомешательства, или же он сошел с ума уже после убийства? Этот вопрос важен для судей, но он вовсе не существен для определения художественной идеи повести, ее основного пафоса. Автор, видимо, стремился обнажить безумие мотивов, которыми руководствовался герой повести, совершая преступление, и показать разрушительный характер и социальную опасность для общества и человечества тех идей, которые служат оправданием насилий и убийств по произволу отдельной личности.

Автор «Мысли» избрал форму исповеди, которую ведет сам герой. Этот повествовательный прием дает возможность углубленного и детального его самораскрытия. Керженцев занят и скрупулезным самоанализом предыстории своего преступления, и подробным нравственно-философским «обоснованием» своего «права» убивать другого человека. Он разворачивает целую цепь доказательств законности и необходимости убийства им Алексея Савелова. Первый аргумент – физическая неполноценность убитого: Савелов – человек хилый, немощный, даже болезненный, а такие люди не нужны обществу, поэтому здоровый, сильный человек имеет право убить слабого. Во-вторых, Савелов, являясь писателем, лишен крупного дарования, не создал до сих пор ни одной значительной книги, да и в будущем бесполезно ждать от него нужных людям ценных произведений, так что вполне законно и нравственно избавить общество от бездарного литератора. В-третьих, Савелов и его жена явились виновниками огорчений и неудач Керженцева в его личной жизни. Пять лет назад Керженцев хотел жениться на Татьяне Николаевне, сделал ей предложение, а она не только наотрез отказала ему, но и оскорбительно посмеялась над ним, а через два года вышла замуж за Савелова. Впрочем, все эти личные счеты и обиды – лишь бытовая «зацепка», внешний предлог, ближайший повод к убийству. Керженцев задумал убийство из «принципиальных», так сказать, научно-философских соображений. Ему непременно хотелось на опыте убедиться, во-первых, в своем праве убивать любого неугодного ему человека и, во-вторых, в своей способности делать это так, чтобы в глазах людей выглядеть невиновным и, значит, остаться безнаказанным. Для такого эксперимента годен, в сущности, всякий человек – не Савелов, так кто-то другой.

О том, что убийство считается преступным и строго наказуемо законом, Керженцев хорошо знал. Ведь судьи и вообще юристы живут отсталыми понятиями и представлениями, ослеплены «обычной и жалкой людской ложью»: они не видят или не хотят признать того, что весь современный мир дер-

жится на человекоубийстве, насилии и что почти все то, что делают люди, есть, по сути, преступление – большое или маленькое. А если само общество насквозь преступно, то почему Керженцев не может позволить себе убить всего только одного человека, явно ненужного обществу? Неужели это столь уж великое преступление? А не будет ли еще большим злом оставлять в жизни такое бесполезное существо? Рассуждая так, Керженцев сделал заключение: «Было бы большим преступлением, если б, признав необходимость убить Алексея, я не выполнил этого решения». Судьи и прокурор, пожалуй, сочтут его доводы и мысли нелепыми и, прибегнув к букве закона, непременно постараются упечь его на каторгу. Им нет дела до того, что Керженцев любит полную свободу, любит жизнь и вообще совершенно не хочет каторги.

Как же быть? Надо вот что: симулировать сумасшествие, убить Алексея в состоянии якобы умоисступления, а потом «выздороветь», и таким путем можно будет избежать наказания. План показался Керженцеву легко осуществимым. Он уже дважды проделал нечто вроде репетиции: на вечере у знакомых он удачно симулировал припадок, а через месяц искусно повторил игру, и многие стали смотреть на него как на потенциально больного, психически ненормального человека. В случае чего судебные эксперты должны будут принять все это во внимание.

Керженцев заранее тщательно обдумал и еще один вопрос. Он спросил себя: отчего какой-нибудь Раскольников и «тьма ему подобных», совершив убийство, все-таки попали «в капкан» – очутились на скамье подсудимых и кончили жизнь «так жалко и так нелепо»? Ответ был прост: так называемые преступники, убив человека, начинают испытывать чувства страха или раскаяния, мучаются болью совести, ощущают в себе нечто вроде нравственной тошноты и, в конце концов, доносят властям и губят самих себя. Керженцев хорошо знает: «Для убийцы, для преступника самое страшное не полиция, не суд, а он сам, его нервы, мощный протест всего тела, воспитанного в известных традициях». Эту ошибку других Керженцев не повторит! Он уверен: ни в момент убийства, ни потом сердце его не дрогнет, разум не помутится, и он не проявит позорной слабости и малодушия. В большую заслугу себе Керженцев ставит свою способность, перешагнув через мораль, без малейших угрызений совести лгать и обманывать, а если понадобится – спокойно и хладнокровно убивать. У него на этот счет уже накопился значительный житейский опыт. Еще в дни студенчества он украл пятнадцать рублей из товарищеских сумм, а чтобы скрыть воровство, заведомо ложно указал на кассира, который якобы ошибся в подсчете денег. Все тогда поверили Керженцеву. Кража, обман и клевета остались нераскрытыми. Он в тайне ликовал и даже был горд собою: ведь он «так хорошо и ловко всех обманул». Новой ступенью его духовного падения была еще одна подлость: он надругался над памятью отца.

Глумясь над человеческой моралью, отвергнув общепринятые этические нормы поведения, Керженцев еще до убийства отказался от различения добра и зла, истины и лжи, справедливости и беззакония, честности и бесстыдства, искренности и двоедушия. Он провозгласил: «Для меня нет судьи, нет закона, нет недозволенного – Все можно». Аморализм сделался основой его личности, оправданием любых его поступков, идей, мыслей. Герой «Мысли» не есть заурядный человек, обыкновенный уголовный преступник, убивающий ради корысти, из материальных выгод, денежных расчетов или по чувству кровавой мести. Керженцев – идейный преступник, философствующий человекоубийца. Он убивает, что называется, бескорыстно, во имя «чистой» идеи, в порядке тщательно продуманного и подготовленного интеллектуально-психологического эксперимента. Его цель двоякая: доказать относительность всех людских понятий о нравственности и подтвердить неизменность, постоянство лишь человеческой мысли. Керженцев боготворит свою мысль, верит в ее непогрешимую правильность и беспредельную силу. И поэтому он так безгранично любит самого себя – всесильного творца мысли, ее владыки, ее повелителя.

Он не раз видел себя вознесенным мыслью на недостижимую высоту – над всеми людьми и над самим собою, чувствовал и воображал себя воистину исключительной личностью: «Царь над самим собою, я был царем и над миром». Оставалось лишь подтвердить самому себе и показать другим, что он именно таков, каким давно себя представляет. Убивая и симулируя сумасшествие, Керженцев, как ему казалось, сохраняет полную ясность мысли, ни на минуту не потеряет рассудка. Была уверенность, что свою мысль он сумеет хладнокровно держать в полном подчинении своему «я», действуя спокойно, четко и точно.

Керженцев, однако, просчитался. Он не смог провести до конца и успешно выполнить, казалось бы, так тщательно разработанную им роль. По мере того, как Керженцев, все глубже погружаясь в самоанализ, с циничной откровенностью и очень искренне исповедуется «в делах своих и помышлениях», становится очевидным, что он не выдержал «экзамена на сверхчеловека».

До убийства он бравировал своим аморализмом, презрением к людям и обществу, ложным сознанием своей исключительности, горделиво кичился своим гипертрофированным индивидуализмом. Теперь же, оставленный наедине с самим собою, Керженцев стал пугаться своей разъединенности с людьми, вынужденного одиночества. До ужаса одинокий, он ощутил в себе пустоту, физическую и душевную слабость, смутно понял свое бесконечное ничтожество и малодушие. Еще недавно Кер-

женцев презрительно осуждал Раскольникова за жалкое малодушие и доноительство на самого себя, за глупую неспособность подавить в себе стыд, Совесть, за неумение избежать «капкана». Теперь сам он, словно оглушенный случившимся, добровольно выворачивает перед следствием изнанку своей души, подробно и многословно, порою повторяясь, воскрешает предысторию своего преступления, пристально исследует природу собственного эгоцентризма. Керженцев, правда, прямо не раскаивается в убийстве, как долго не хотел раскаяться и Раскольников, но он идет гораздо дальше Раскольникова в саморазоблачении. Видно, прав великий поэт: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста». Не выговаривая этих пушкинских слов, герой Андреева, по сути, признает несостоятельность идеи моральной «вседозволенности» и как бы демонстрирует крах индивидуалистического своеволия и ницшеанского аморализма. Апология мысли и разума обернулась для Керженцева интеллектуальным нигилизмом.

В повести подчеркивается, что границы мысли и безумия вообще крайне зыбки, шатки и что часто бывает невозможно провести линию различия между нормально мыслящим человеком и сумасшедшим, обнаружить тонкую перегородку, отделяющую больную душу от здоровой. Все здесь подвижно, условно, относительно. Вот хоть бы сам Керженцев: «...когда я доказываю, что я сумасшедший, вам кажется, что я здоровый, а когда я доказываю, что я здоровый, вы слышите сумасшедшего». В самом деле: болен ли он душевно или здоров? Действительно ли он сумасшедший или симулирует сумасшествие?

На этот вопрос, интересовавший и продолжающий интересовать читателей «Мысли» и ее критиков, в повести нет ответа, во всяком случае, исповедь героя не дает основания для того или другого категоричного ответа. Сам Андреев считал этот вопрос не столь важным для уяснения главной мысли повести. Вопрос о сумасшествии Керженцева, конечно, вопрос третьестепенный, не основной и не имеет принципиального значения. Должно, однако, обратить внимание на заключительные строки повести, написанные уже от лица автора. В сцене суда, являющейся развязкой повествования и эпилогом к исповеди доктора-убийцы, он предстает с явными признаками душевной ненормальности, несомненного помешательства, сумасшествия. Неподвижным взглядом, тупо и бессмысленно глядит он в пустое пространство, и в его глазах – чернота, безумие, смерть.

В рассмотренных выше философских произведениях Андреева проступают настроения недоверия к человеку, скепсиса в отношении человеческого разума, авторская сосредоточенность на проявлениях патологии в психике и поведении людей. На этом основании некоторые критики обвинили Андреева в декадентстве. Вряд ли следует отрицать, что повесть «Мысль», как и отдельные его философские рассказы начала века, были известной уступкой писателя духу и эстетике декаданса. Но Андреев – не декадент. Ни в «Мысли», ни в «Рассказе о Сергее Петровиче» нет и в помине декадентской апологии ницшеанства с его культом своевольной «сверхличности», проповедью аморализма, болезненно преувеличенного индивидуализма и элитарного пренебрежения к «толпе», демосу, массам. Нет тут и декадентского неверия в разум и развенчания мысли.

Суждения героев названных произведений, их философия и жизненное поведение не только не совпадают с авторскими, но, как в этом легко убедиться, прямо противоположны им. Андреев развенчивает Керженцева и Сергея Петровича как носителей индивидуалистического сознания, чуждого демократии, и этим объективно демонстрирует свою приверженность демократическим идеям эпохи. Раскрывая процесс духовного вырождения своих героев, показывая несостоятельность исповедуемой ими нравственной философии и полный моральный крах их своеволия, Андреев отвергал ницшеанский аморализм и фактически выступил в защиту человечности, гуманизма. В его произведениях в конечном счете осуждены преступные или ошибочно ложные пути личности, противостоящей людям, обществу, народу.

«Мысль» и «Рассказ о Сергее Петровиче» – реалистические художественно-философские создания Андреева. В них писатель обобщил, типизировал некоторые очень характерные явления современности. Главные действующие лица не выдуманы, их характеры сложились под очевидным воздействием исторически определенного времени – пестрой, противоречивой, «суматошной» эпохи рубежа двух столетий. Их парадоксальные философствования – это своеобразная «исповедь сына века», ум и душа которого искажены ложными нравственными идеями, антиобщественным мировоззрением. Можно говорить о типичности образов Керженцева и Сергея Петровича: в каждом из них угадывается характерно русский интеллигент-индивидуалист, погруженный в субъективное «я», оторванный от социальной борьбы и никак не связанный с народной жизнью и демократическим движением масс. Андреев воплотил эгоистическое сознание современного ему человека, безнадежно заблудившегося в поисках жизненного идеала.

ЛИТЕРАТУРА

Литературное наследство. Т. 72. Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. М., 1965.

*Публикацию подготовила
С.Я. Гончарова-Грабовская,
кафедра русской литературы*